

В бараке осенняя сырость с улицы отражалась в носу, бронхах и душе. «Сырые будни» — это когда ты сидишь на полу и втягиваешь запах спрессованных водянистых опилок от прогнившей и обвалившейся завалинки. А ещё тебя пронизывает насквозь холод из щелей рассохшихся оконных рам и собственная беззащитность.

Обстановку распада души на мелкие никчемные частицы в такие серые будни подогревало отсутствие света в прихожей из-за вывернутой с корнем лампочки (то ли хулиганы, то ли сэкономили соседи по коридору) и выключенного света в доме — потому что батя так сказал.

Как сейчас помню: недостаток света в короткий осенний день, окна запотели, ты вдыхаешь сырость и одиночество, а батя — спит. Батя, как ни странно, некий гарант спокойствия, когда малолетняя депрессия берёт своё: батя рядом, он спит, но, возможно, услышит тебя, если ты его оклинешь. Батя спит: от него пахнет куревом и спиртом. А тельняшка его пахнет порошком. Он удовлетворённо спит и не видит разруху вокруг. Батя просто пьян.

Когда уволили с работы мать, её горе знали все: соседи по бараку, все знакомые и друзья, родственники и, разумеется, мы. Горе сопровождалось истериками и выражалось ярко, как будто на сцене выкладывался артист на премьерном спектакле.

Что же касается бати, то он как мужчина держал тоску от собственного сокращения на работе в себе и при себе. Бывало, откроет форточку, начнёт курить, потом задумается и не заметит, как огонь сигареты подберётся к фильтру и не спеша начнёт обжигать его пальцы.

Я не серчаю на бату и мать за тоску, которая из детства перешла в юность, потом перекечевала со мной в зрелость и превратилась в навязчивую потребность. Я до сих пор ощущаю эту сильную тоску. Хотя живу гораздо лучше. Ощущаю сырость и подавленность, живя в комфортабельных условиях и с большим пространством вариантов решения проблем, чем тогда.

Вспоминается один случай. Батя «пришёл на рогах», но дошёл до кровати сам и стал разуваться не в прихожей, а дома. Я тогда не понимал, что его одолевала такая форма депрессии, когда ему становилось плевать и на свой внешний вид, и на то, что творится рядом с ним и у него дома. Он снял ботинки и поставил их около кровати. Лёг и закурил. Я подошёл к нему и спросил: «Батя, а вот мы так живём, живём, а потом умрём, да?» Не знаю, почему сам по себе у ребёнка возник такой вопрос в довольно неокрепшей голове. До сих пор не могу дать на него ответ.

Батя окинул меня испытывающим взглядом, пронизывающим насквозь.

— Мать научила? — спросил он.

Резко батя вскочил с кровати, подошёл к магнитофону и поставил кассету. Заиграла музыка. Уже со временем я узнал, что за песня играла в динамиках старого, раздолбанного магнитофона. Зазвучала композиция «*Pardonne-moi ce caprice d'enfant*» в исполнении французской певицы Mireille Mathieu.

— Давай, сынок, плясать? Будто мы с тобой в Париже, ёпта!

Не вынимая сигареты изо рта, он подхватил меня мощными, жилистыми руками и стал кружить под оптимистичные и свободные мотивы французского *La chanson*. Меня кружил батя, я громко смеялся и просил подбросить меня вверх. Батя подбрасывал меня и ловил за секунду до падения на пол. Я визжал от восторга и страха. Батя улыбался.

Мы кружились и разряжали сырой воздух своим тёплым дыханием. Мы веселились, когда вокруг природа плакала и грустила. Мы разгоняли скисшую в наших жилах кровь. Мне тогда показалось, что мы как будто победили нашу реальность...

Все мы родом из детства. Я часто выезжаю куда-то подальше от людских глаз, сижу подолгу в машине один, чтобы... просто побыть одному. Как почувствую «сырость» и беззащитность перед ней — включаю в магнитоле заветную «*Pardonne-moi ce caprice d'enfant*». Как когда-то её включил для меня мой батя в один из особенно холодных и тоскливых осенних будничных дней...